

## КРИТИКА НИКОЛАЯ СТРАХОВА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

В истории общественного сознания вообще и в истории литературы в частности есть деятели, которые, внешне вроде бы не выходя на первый план, играют роль гораздо более существенную, чем принято обычно думать. Так, вряд ли может быть всесторонне понято второе полу столетие в развитии русской литературы XIX века с центральными для него фигурами Достоевского и Толстого без учета жизни и деятельности Николая Николаевича Страхова. «Да половина моих взглядов — ваши взгляды»,<sup>1</sup> — сказал Страхову Достоевский. Правда, сообщил об этом сам Страхов. Но возможное подозрение в преувеличении отпадает, если мы учтем ну хотя бы, например, то, что писал Страхову другой его великий современник, в меньшей мере, чем Достоевский, соратник, но, может быть, еще в большей мере друг — Лев Толстой: «Нынче я говорил жене, что одно из счастья, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов».<sup>2</sup> Это писалось вскоре после их состоявшегося в 1871 году знакомства (переписка Толстого со Страховым завязалась немного раньше, в 1870 году), а именно, в сентябре 1873 года. Через четыре года (в 1877 году) Толстой назовет Страхова единственным духовным другом.<sup>3</sup> И это понятно: ведь еще через много, почти через двадцать лет он снова скажет о сближении со Страховым «самыми основами».<sup>4</sup>

Человек устойчиво консервативных взглядов, принимавший активное участие в бурных журнальных полемиках 60-х годов прошлого века, Страхов и тогда и позднее неизменно занимал правые позиции, выступая постоянным оппонентом революционно-демократических критиков. Кстати, и отношения его с Толстым, и уже тем более с Достоевским, тоже отнюдь не были идиллическими, предполагали расхождение, иногда длительные, и рождали споры, подчас резкие.

Устойчивый и определенный консерватизм Страхова получил, главным образом в самом общем виде, многократную оценку в нашей литературе, особенно в пособиях по истории литературы и критики. Следует, однако, наряду с этим уяснить и то позитивное, что внес Страхов в русское литературное сознание и что (например, некоторые оценки творчества Льва Толстого) вполне обнаружило свою немалую значимость в исторической перспективе.

Деятельность энциклопедически образованного Страхова была разнообразной, но известен он прежде всего как литературный критик. Эта

<sup>1</sup> Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 238.

<sup>2</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти т., т. 17. М., 1965, с. 339.

<sup>3</sup> См. там же, с. 461.

<sup>4</sup> Там же, т. 18, с. 78.

критика, естественно, тесно связана с его общемировоззренческими основами и с позицией, занимавшейся в общественной борьбе того времени. Что же Страхов внес в русскую критику? Что позволяет его критика увидеть и понять в общественно-политических боях и литературных столкновениях прошлой эпохи, чем интересна, поучительна она и ныне?

Русская литература в пору становления национального сознания после 1812 года рождала ряд громадных обобщающих явлений. Так было в самых разных сферах и на разных уровнях: Крылов — в басне, Грибоедов — в драме, Кольцов — в песне. И, конечно, все так или иначе к себе сводящий и все покрывающий — Пушкин. Пушкин же определил и дальнейшее развитие русской литературы, уже всю ее, пусть иногда в зерне, в зародыше, в наброске, в себе заключая: «Он, — писал Страхов, — один есть полный образ русской души, но лишь в очерке, без красок, которые лишь потом явятся в пределах его очертаний».<sup>5</sup> Последующее художественное развитие будет и более сложным, и более дробным, и более противоречивым.

В пушкинскую эпоху все подлинно великие писатели в общем стоят по одну сторону. В послепушкинскую определились такие противостояния, когда мы видим часто и по многим пунктам разведенных, например Некрасова и Фета. Добролюбов в понимании и истолковании написанного Тургеневым романа «Накануне» решительно расходится с самим Тургеневым. Достоевский оказывается энергичным оппонентом Добролюбова и т. д. и т. п. Тем не менее те же Некрасов и Фет признают единую, от Пушкина идущую родословную, каждый не без основания претендует на часть пушкинского наследия.

Нечто подобное, конечно в иной форме и степени, но все же, имело место и в русской критике. При начале новой русской критики, великой критики великой литературы, стоит колоссальная фигура Белинского. Он стал для нашей критики тем, чем был Пушкин для русской литературы, он стал Пушкиным нашей критики. Многие явления русской критической мысли оказались в пору обострившейся социальной борьбы середины века разведенными и противостоящими. Проще обстоит дело с пониманием позиции критиков реакционных, подчас откровенно репительных. Но все усложняется, когда мы подходим к таким фигурам, как Страхов или Дружинин, подходим с желанием понять, в частности, и их отношение к Белинскому.

Естественно и справедливо мы видим наследников Белинского и продолжателей дела Белинского прежде всего в Чернышевском и Добролюбова. Сами они это осознавали отчетливо и подтверждали это энергичной пропагандой идей Белинского, его имени, его образа — достаточно вспомнить цикл статей Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», который отведен в большей своей части именно Белинскому. Но и многие деятели, не только не принадлежащие к революционным демократам, но им противостоящие, тоже претендуют на верность памяти Белинского, на право наследования ему. Недаром Тургенев демонстративно посвятил свой, как полагали, направленный против «Современника» с его обновленной демократической редакцией роман «Отцы и дети» памяти Белинского.

Конечно, во многих относящихся к Белинскому признаниях многих либеральных деятелей была своя корысть, желание приспособить Белинского к себе, осенить себя его именем, истолковать его в своем духе, подчас прямо извращая. Но не только. В ряде отношений критики и этого толка реально наследовали Белинскому. В чем, где и когда?

<sup>5</sup> В кн.: Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876, с. VIII.

Например, за тем противопоставлением Пушкина Гоголю, которое возникло в критике середины прошлого века, ясно просматривается и реальное противостояние общественных сил. К пятидесятым годам уже стало меньше ощущаться живое, злободневное содержание пушкинской поэзии. Но все явственнее стали вырисовываться ее громадные, как бы вневременные масштабы — сравнения с Шекспиром, с Гете мелькали все чаще и уже переставали вызывать удивление. Все это рождало дополнительный энтузиазм одних и сравнительное охлаждение других, доходившее позднее уже и до прямого отрицания Пушкина (у Д. Писарева, В. Зайцева). Безмерность содержания пушкинских творений стала иной раз пониматься как их бессодержательность. И сам Белинский будет подвергаться нападкам, например со стороны Писарева, прежде всего в статье «Пушкин и Белинский», за то, что занимался «бессодержательным» Пушкиным. Уже статьи о Пушкине Чернышевского при громадном уважении к поэту и признании его заслуг достаточно сдержанны. Это, очевидно, и заставило Некрасова написать Дружинину: «Я ужасно жалел, что эти статьи (статьи Дружинина о Пушкине, — Н. С.) не попали в „Современник“, — они могли бы быть в нем и при статьях Чернышевского, которые перед ними, правда, сильно бы потускнели». <sup>6</sup> Тогда же Некрасов заявил об этих статьях Дружинина печатно: «Вот статьи, каких мы желали бы как можно более, вот какова должна бы быть русская критика!» <sup>7</sup> Вместе с тем, говоря о понимании Дружининым Гоголя, тот же Некрасов напишет: «Дружинин просто врет и врет безнадежно». <sup>8</sup>

В желании, опираясь на «вечный», «абсолютный» смысл пушкинской поэзии, принизить живое, злободневное содержание современного литературного движения у Дружинина прямо заявляет себя позиция испугавшегося такого движения и отгораживающегося от него либерала. Но в понимании и ощущении «вечного», «абсолютного» смысла самой пушкинской поэзии Дружинин был во многом прав. И здесь он реально наследовал Белинскому, а кое в чем, например в понимании позднего Пушкина и его мирового значения, прошел даже дальше Белинского, как прошел дальше Белинского, скажем в понимании позднего Гоголя, Чернышевский. Белинский многому научил наших, и часто очень разных, критиков. Понимать Гоголя. Но и понимать Пушкина. Через много лет писатель и критик очень консервативный и националистически настроенный — В. В. Розанов вроде бы неожиданно тоже захочет ощутить родство с Белинским и в пику всем западникам скажет о «западнике» Белинском: «Белинский — русский, *еще русский*. . . Его пора перетащить по настоящему адресу, — его, лучшего толкователя Пушкина». <sup>9</sup>

Страхов полагал, что истинным создателем русской критики был Аполлон Григорьев. Но сам-то Григорьев думал об этом иначе. По сути единственным русским писателем, к которому он прилагал слово гениальный, был Пушкин. И единственным критиком — Белинский, «гениальный человек», «призванный»: «Литература была за него, оправдывала его доктрины, по тому самому, что он ее угадывал, определяя с удивительной чуткостью ее стремления, разъясняя ее, как Гоголя и Лермонтова. Говоря о литературе нашей, — а она долго была, повторю я, единственным средоточием всех наших высших интересов, — постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! — едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан судьбою

<sup>6</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти т., т. X. М., 1952, с. 230.

<sup>7</sup> Там же, т. IX, с. 291.

<sup>8</sup> Там же, т. X, с. 247.

<sup>9</sup> Розанов В. Литературные изгнанники, т. I. СПб., 1913, с. 238.

этот удел совершенно по праву».<sup>10</sup> Сравнение Белинского с Лессингом останавливает тем более, что Энгельс, как известно, тоже называет уже Чернышевского и Добролюбова социалистическими Лессингами.

Интересно, что Григорьев ощутит именно необычайную широту диапазона деятельности Белинского: «Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания, по той простой причине, что сохранил бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни. В наше время он не был бы ни отрицателем, ни централизатором, хотя подлежит сомнению и то, что он был бы славянофилом. Славянофильство, может быть, играло бы только роль кратковременного момента в его развитии — не более».<sup>11</sup> Ведь действительно — Белинский, много и ожесточенно боровшийся со славянофилами, писал: «Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому».<sup>12</sup> Именно оставаясь «на своем месте», он, подобно Пушкину, особенно в «пушкинские», тридцатые годы, многое в себе синтезирует, заключает, еще объединяет то, чему скоро предстоит разъединиться.

Недаром Григорьев часто ставит рядом имена Пушкина и Белинского, например в связи с первыми повестями Гоголя, которые поняли, «во-первых, Пушкин, а, во-вторых, — автор „Литературных мечтаний“», т. е. Белинский.

Кстати сказать, последователь и ученик Григорьева Страхов тоже настаивал на необходимости обращения не только к Пушкину, но и к Белинскому (в статье 1861 года «Нечто о полемике» он называет лишь два имени — Пушкина и Белинского — в числе тех немногих, кто «все понимал») и сам, по сути, в целом ряде отношений повторил Белинского, например в своих пушкинских статьях. И это при том, что Страхов, как и его учитель Аполлон Григорьев, разумеется, оказывался противником многого у Белинского и в принципе и в конкретных оценках, особенно у Белинского конца 40-х годов, Белинского — революционного демократа и материалиста.

\* \* \*

Одним из любопытных явлений середины прошлого века является то, что в журнальных полемиках сторонниками материализма были нередко люди гуманитарного образования (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), а в роли защитников «эстетики», идеализма вообще и религиозных воззрений в частности — естественники: Д. Аверкиев, Н. Соловьев, тот же Страхов.

Страхов неизменно выступал как активный пропагандист естественнонаучных знаний. «Естественные науки, — писал он, — имеют тройкий интерес: как *полезные* в практике, как удовлетворяющие особым теоретическим потребностям ума, и, наконец, как питающие эстетическое чувство».<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Сочинения Аполлона Григорьева, т. I, с. 578—579.

<sup>11</sup> Там же, с. 579.

<sup>12</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, с. 29.

<sup>13</sup> Страхов Н. О методе естественных наук и значении их в общем образовании. СПб., 1865, с. 130.

хотя Базаров головою выше других лиц... есть, однако же, что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее — не какие-нибудь лица, а та *жизнь*, которая их воодушевляет... Те, которые думают, что ради умышленного осуждения Базарова, автор противопоставляет ему какое-нибудь из своих лиц, например, Павла Петровича, или Аркадия, или Одинцову, — странно ошибаются. Все эти лица ничтожны в сравнении с Базаровым. И, однако же, жизнь их, человеческий элемент их чувств — не ничтожны... Общие силы жизни — вот на что устремлено все его (Тургенева, — Н. С.) внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает... Базаров — это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою».<sup>18</sup>

Представление о «вечном», «абсолютном» характере искусства позволило критику увидеть в романе смысл, рожденный своим, определенным временем, но далеко выходящий за его рамки: «Написать роман с прогрессивным или ретроградным направлением еще вещь нетрудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий *всевозможные* направления... он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, *всегдашний*... Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей, или не *тех* отцов и детей, каких хотелось бы другим, то *вообще* отцов и *вообще* детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно».<sup>19</sup>

Страхов глубоко понял именно трагическую сторону и во взаимоотношениях Базарова с искусством. Цитируя статью Писарева, в которой тот рассматривает отрицание Базаровым искусства как непоследовательность, Страхов пишет как раз о последовательности Базарова, видит в этом не противоречивость Базарова, а его цельность и верность себе: «Очевидно, Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его... В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебные начала; он чувствует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них».<sup>20</sup>

Страхов увидел в Базарове и национальный тип — ощущение, которое, очевидно, испытывали при восприятии Базарова Достоевский и сам Тургенев, сравнивавший, как известно, Базарова с Пугачевым. Самую силу отрицания искусства у Базарова как знамение времени Страхов возвел и в более общую степень: «Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение. Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то или приторным, или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на

<sup>18</sup> Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), т. I. Киев, 1901, с. 28, 34, 37.

<sup>19</sup> Там же, с. 33.

<sup>20</sup> Там же, с. 14—15.

этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник... Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, *более русский*, чем все остальные лица романа. Его речь отличается простотой, меткостью, насмешливостью и совершенно русским складом. Точно также, между лицами романа он всех легче сближается с народом, всех лучше умеет держать себя с ним».<sup>21</sup>

Любопытно, что под тем же углом зрения Страхов посмотрел и на «новых людей» Чернышевского. В статье «Счастливые люди», напечатанной в 1865 году в «Библиотеке для чтения», он писал о романе «Что делать?»: «... роман не был бы возможен, если бы не было в действительности чего-нибудь соответствующего... Итак, эти новые люди существуют... Немецкие физиологи действительно ошиблись в своих характеристиках; есть человеческий тип, который не подходит под то, что до сих пор называлось человеком. Он явился недавно, явился на нашей земле, и, может быть, немцам и французам никогда не видать у себя таких людей, хотя эти люди и воспитываются на немецких и французских книжках. Дело не в книжках, а в крови. Разве не слышна в этом типе частица русской силы?»<sup>22</sup> Все это отнюдь не процеженные сквозь стиснутые зубы признания. Первоначальный текст статьи «Счастливые люди», предназначавшийся к печатанию в «Эпохе» и написанный еще в 1863 году, вскоре после появления романа Чернышевского, очевидно, содержал даже более высокие его оценки, ибо цензура потребовала смягчения «особенных похвал романа».<sup>23</sup> Автор совсем не разделяет тех представлений о счастье, которые есть у автора и героев романа, но и к тем и к другим он относится в высшей степени серьезно.

Когда умер Добролюбов, Страхов откликнулся во «Времени» некрологом не только прочувственным, но во многом пронизательным и поучительным для понимания добролюбовских статей. Он называет Добролюбова публицистом в форме критика. Это похоже на привычное в устах противника революционно-демократической критики обвинение в желании использовать искусство в чуждых целях, рассматривать его лишь как предлог для пропаганды посторонних ему идей. Однако, оценивая деятельность Добролюбова как самостоятельную, но отрицательную и одностороннюю в отличие от Белинского, который был «крепко связан со всем лучшим, что росло на русской земле в его эпоху», Страхов тем не менее признает: «... только во времена Добролюбова „Современник“ был единственным журналом, которого критический отдел имел вес и который вместе постоянно и ревниво следил за литературными явлениями». Более того: «Критические статьи, судя по самим этим статьям, были для него (Добролюбова, — Н. С.) прямым и естественным делом, а не маскою для прикрытия другой деятельности».<sup>24</sup>

Думается, что за всем этим стоит чуткое ощущение того, что статьи наших великих критиков — революционных демократов действительно не только оценка того или иного произведения. Они — критика, но и нечто большее. Они и творчество сами по себе. Можно представить тип статьи, имеющей значение и цену лишь в отношении к рассматриваемому произведению. Лучшие статьи Белинского или Добролюбова — и безотносительная ценность. В этом смысле они отличны от большинства статей того же Страхова, чаще всего только критика, а не создателя. «Я, — признавался он в письме В. Розанову от 29 апреля 1888 года, — так люблю ссылаться на всякие книги и говорить не от себя, а чужими

<sup>21</sup> Там же, с. 16, 23.

<sup>22</sup> Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890, с. 339—340.

<sup>23</sup> См. об этом: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М., 1975, с. 209—212.

<sup>24</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. II, с. 291.

словами, сопоставляя и толкуя места какого-нибудь автора. Тогда я чувствую себя на твердой почве». Естественно, речь идет не о какой-то всеядности: «Чужие мысли, — пишет Страхов 18 марта 1888 года в другом письме Розанову, — только помогают моей, и я во множестве книг ищу и нахожу только *свое*».

В этом смысле очень показательны характеристики Страхова в устах его, если это слово здесь уместно, поклонника и, во всяком случае, ученика В. Розанова, который писал, что Страхов почти никогда не являлся утвердителем, а постоянно предостерегателем и удерживателем. «Страхов, — писал Розанов, — вечно точил и обтачивал чужие мысли, чужие идеи, чужие замыслы и порывы. Вся его работа, на протяжении всей жизни и во всех разнообразных областях, где он трудился — биологии, механики, психологии, метафизики — *критическая*, без решимости и даже без желанной *творчества*. . . И он всю жизнь „продумывал“ чужие мысли, уча, наставляя и вечно читая сам».<sup>25</sup>

Именно творческий элемент даже у своих противников Страхов не мог не видеть и не мог не говорить о нем. Недаром он писал о Добролюбове: «Если бы он остался жив, мы бы многое от него услышали».

Таким образом, отношение Страхова к «нигилистам» отнюдь не было однозначным. Обычно, и справедливо, отмечается, что позднее Страхов иначе, т. е. гораздо более отрицательно, оценивал и тип «нигилиста» как общественное явление, и литературу, его запечатлевшую, в частности роман «Отцы и дети». Все это так. Но и на этом он не остановился, хотя дело не обошлось без вмешательства извне, а именно со стороны Л. Толстого, решительно и гневно осудившего нападки на «нигилистов» и сразу за словами увидевшего суть дела. В ответ на оправдания Страхова по поводу того, что тот лишь отрицает отрицание, Толстой заявил: «Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с Вами вместе, не могу понять».

Вы находите безобразие, и я нахожу. Но Вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие. . . Вы отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить. . . Я отрицаю то, что противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается все человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей и человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов».<sup>26</sup> «Относительно моего *нигилизма*, — оправдывался Страхов, — Вы правы: все мое писание имеет односторонний вид и может быть принято за брань на нигилистов. Так это многие поняли; воздерживаясь от всякого суждения о существующем порядке и не воздерживаясь от самых разных суждений о нигилизме, я непременно впадаю в адвокатские приемы, в лукавство газетчиков. Да, молчать действительно лучше, чем говорить».<sup>27</sup>

Еще позднее Страхов писал Толстому: «Нигилизм и анархизм — ведь это очень серьезные явления в сравнении с тою болтовней, которая составляет верх человеческого достоинства для Григоровичей и Фетов». И это не было лишь принаравливанием к Толстому, ибо и с уже прямо и предельно консервативным Розановым он делился: «Это было общее движение, поток отрицания, захвативший почти всю литературу».

<sup>25</sup> Розанов В. Указ. соч., т. I, с. 6.

<sup>26</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 294.

<sup>27</sup> Там же, с. 280.

Конечно, в основе лежат нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать, что нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы.<sup>28</sup> Это писалось в 1890 году, уже сравнительно незадолго до смерти. И, конечно, при безусловном отрицании всех революционных программ как прошлого, так и настоящего, и при предельно честном признании отсутствия за собственной душой какой бы то ни было программы. И чем ближе к концу, тем с большей силой это ощущалось.

В этом смысле, да и во многих других, переписка Страхова с Толстым являет замечательный человеческий документ. Недаром С. А. Толстая уже после смерти мужа многократно отмечает в «Дневнике»: читали... читала... читаю... письма Н. Н. Страхова и Льва Николаевича.<sup>29</sup> Тем большее удивление и сожаление вызывает тот факт, что в недавно вышедшей двухтомной переписке Л. Толстого с русскими писателями (М., 1978) совершенно не нашлось места тому, что сам Толстой считал наиболее из своей переписки интересным.

Исповедуясь (трудно назвать это другим словом у обычно довольно сдержанного Страхова) Толстому, Страхов пишет: «В эпоху наибольшего развития сил (1857—1867) я — не то что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни. Что же я делал собственно и тогда и потом, и что делаю теперь? То, что делают люди отжившие, старики. Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избегать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И особенно я *берегся* нравственно... А затем — я служил, работал, писал — все лишь настолько, чтобы не зависеть от других, чтобы не было стыдно перед товарищами и знакомыми. Во время литераторства я помню, как я сейчас же останавливался, как только видел, что денег наработано довольно. Составить себе положение, имущество — я никогда об этом не заботился. Так что все время я не жил, а только *принимал* жизнь, как она приходила... За это, как вы знаете, я и наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью. И сверх того, или пожалуй вследствие того, я не знаю, что мне думать. Вот Вам моя исповедь, которую я мог бы сделать несравненно более горькою».<sup>30</sup> В ответ на убеждения и доказательства Толстого, что это положение невозможно, так как при нем жить нельзя, Страхов резюмировал: «Я и не живу».<sup>31</sup>

\* \* \*

Из всего этого, конечно, не следует, чтобы Страхов был безыдеальным человеком. Положительные начала, как он их понимал, — о программе в смысле программы действий и их пропаганды в буквальном значении говорить не приходится, — располагались прежде всего в двух сферах: в более земной и реальной — Россия, в более идеальной и метафизической — религия.

Страхова часто называли и называют славянофилом. Не слишком точно. Хотя Страхова объединяет со славянофилами категорическое неприятие Запада, прежде всего буржуазного, и вера в самобытный путь развития России, тем не менее ко многому в славянофильской идеологии, и более ранней и более поздней, он относился критически. Такое критическое отношение к славянофильству было характерно для всех

<sup>28</sup> Розанов В. Указ. соч., т. I, с. 236—239.

<sup>29</sup> См.: Толстая С. А. Дневники, в 2-х т., т. 2. М., 1978, с. 385, 389, 401 и др.

<sup>30</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 165—166.

<sup>31</sup> Там же, с. 171.



почвенников уже в 50—60-е годы. Позднее представления Страхова о России, ее месте, особенностях и роли во всемирной истории обрели определенное теоретическое обоснование. Но опять-таки — не оригинальное, страховское: он снова свое находил у другого. Как в сфере естествознания (в критике дарвинизма), так и в сфере исторических построений Страхов опирался на идеи Н. Данилевского, в последнем случае разрабатанные в труде «Россия и Европа».

Концепция исторического развития Данилевского основывалась на той идее, что история человечества есть не прогресс некоего общего ряда, единой цивилизации, а существование частных цивилизаций, развитие отдельных культурно-исторических типов. Среди них есть и такой, как славянство. Все это по сути уже снимало вопрос о мессианской роли славянства вообще, России в частности. Тем не менее именно в России Данилевский усматривал первый и самый полный, пользуясь его терминологией, «четырёх-основной» тип, т. е. синтезирующий, гармонизирующий четыре начала: религию, культуру, политику, экономику. Правда, скорее в возможности, но такой, для реализации которого нация созрела: «Русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы».<sup>32</sup> Как известно, общие идеи Данилевского позднее легли в основание книги Освальда Шпенглера «Закат Европы».

Страхов в духе Н. Данилевского рассматривал Россию как самобытное явление, особый тип духовной жизни и национальной организации. Впрочем, он очень критически смотрел на характер духовного развития страны, в частности и на развитие нашей литературы: «бедна наша литература» — довольно устойчивый критический рефрен Страхова, давший наконец название целому большому очерку «Бедность нашей литературы». Однако «чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой несостоятельности». Потому-то «первая наша бедность есть *бедность сознания* нашей духовной жизни».<sup>33</sup> Потому-то Страхов дает столь резко отрицательные оценки тургеневскому «Дыму» (в особой об этом романе статье): «... не дым все русское». И прежде всего за потугинские нападки на Россию: «Вообще, замечания г. Потугина иногда остроумны, но в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто эту жизнь не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе. Темна, бедна русская жизнь — кто говорит! Но от этого русским людям, как людям живым, бывает трудно и тяжело жить, а не летят они по ветру с легкостью дыма. В самых шатаниях и увлечениях, которые, по видимому, хочет казнить г. Тургенев своею повестью, мы очень серьезны, доводим дело до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, следовательно, доказываем, что мы живем и хотим жить, а не несем, куда ветер повеет».<sup>34</sup>

Но есть ли у Страхова какие-либо аргументы в пользу такой серьезности и основательности «русской жизни», несмотря на ее бедность и темноту? Трезвый, скептический и строгий ум Страхова предполагал обращение к доказательствам бесспорным и к таким, у которых сам он мог судить вполне компетентно. Доказательства брались из сферы русского искусства, русской литературы. Кстати сказать, эту же аргументацию позднее использует Данилевский. Говоря о прошлом русской литературы, он берет такие сравнения: «Чтобы найти произведение, которое могло бы стать на ряду с „Мертвыми душами“, должно подняться до „Дон-Ки-

<sup>32</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888, с. 537.

<sup>33</sup> Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868, с. 3.

<sup>34</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 60.

хота“». <sup>35</sup> А говоря о ее настоящем, он уже не может найти никаких сравнений: «Пусть укажут нам на подобное произведение (речь идет о «Войне и мире», — Н. С.) в любой европейской литературе». <sup>36</sup>

Характерно, что и в статье о «Дыме» в споре с Потугиным—Тургеневым (ибо Страхов в отношении к России почти объединяет героя с автором — близость эту, как известно, не отрицал и сам Тургенев) Страхов обращается к Глинке. Страстный меломан, Страхов был большим знатоком русского и западного музыкального искусства: «Мы, например, любим музыку Глинки; серьезный, строгий музыкальный вкус развивается в нашей публике; являются композиторы со своеобразными, неподдельными талантами; мы встречаем их с восторгом, и будущность русской музыки нам кажется несомненною. А нам говорят на это: „о, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преимущество искусства!“ То есть, как же, дескать, вы надеетесь, что у вас будет русская музыка, когда ее еще нет? Забавное рассуждение! Ведь только на то и можно надеяться, чего еще нет. Но она есть, русская музыка! Сам Сюзонт Иванович говорит, что Глинка чуть было не „основал русской оперы“. А что, как в действительности он ее основал, и вы ошибаетесь? С каким вы длинным тогда останетесь носом! Шутка ли — *русская опера!*» <sup>37</sup>

Правда, некоторые важнейшие стороны в развитии русского искусства оказались для Страхова почти полностью закрыты. Так было в музыке. Любя и понимая Глинку, Страхов не понимал и не любил Мусоргского и ясно выразил это непонимание и эту нелюбовь в двух статьях-письмах «Борис Годунов на сцене», обращенных к редактору «Гражданина» Ф. М. Достоевскому. Страхову остались чужды и музыкальная форма, в частности тяга к речитативу, и отступление либретто от пушкинского текста (здесь он сошелся во мнении и с музыкальными критиками, Ц. Кюи например). Но главное, ему оказалось чуждо новое музыкальное направление в целом, его дух, его «философия» — он увидел в опере Мусоргского только «обличительство», подобное тому, которое он увидел, например, в поэзии Некрасова. Конечно, показательно, что Страхов не понял и не принял своеобразного аналога Некрасова в музыке — Мусоргского. Речь уже не об именах, а о целом направлении нового русского искусства.

В отношении же собственно к Некрасову Страхов пошел далеко назад, даже в сравнении со своим учителем Ап. Григорьевым и соратником Ф. Достоевским. Конечно, свою роль играло и то обстоятельство, что Некрасов стоял во главе журналов, с которыми Страхов почти неизменно вел полемику. В 1870 году Страхов опубликовал в журнале «Заря» статью «Некрасов и Полонский». Из нее особенно ясно видно, что речь идет именно о направлении. Страхов даже называет поэзию Некрасова и поэтов, близких к некрасовским «Современнику» и «Отечественным запискам», «направленской». Уже в конце статьи критик сделал любопытное замечание общего характера: «Поэты! Слушайте Вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайте критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьи, тогда как должны бы быть только вашими толкователями. Но толковать поэзию трудно, а судить — легко удивительно». <sup>38</sup>

Но в сущности именно на этот путь и встал сам Страхов. Он «судит» некрасовскую поэзию, по сути почти ее не «толкую», — статья оказалась в основном посвящена Полонскому. Точнее, он судит направле-

<sup>35</sup> Данилевский Н. Я. Указ. соч., с. 548.

<sup>36</sup> Там же, с. 550.

<sup>37</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 60.

<sup>38</sup> Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, с. 176.

ние, правда, из самого этого направления Некрасова выделяя: «Мы были бы чрезвычайно несправедливы к г. Некрасову, если бы смотрели на него, как на некоторого Минаева больших размеров, хотя так смотрит на себя сам г. Некрасов, хотя в минаевщине он поставляет всю свою славу. В г. Некрасове есть нечто большее, чего нет в г. Минаеве и во всем направлении, которому они оба служат».<sup>39</sup>

В результате Страхов не написал ни о том «меньшем», что он видел в Некрасове («Особенно соблазнительно — написать такую критику на г. Некрасова. Статью можно было бы написать преядовитую...»), ни о том «большем», что он в нем ощущал («Отлагаем г. Некрасова до другого времени... мы собственно собираемся хвалить нашего наиболее читаемого поэта. Итак, когда-нибудь мы будем хвалить г. Некрасова...»).

Почти все суждения Страхова о Некрасове отмечены этой двойственностью. Дело здесь не только в идеологической предвзятости, но и в неспособности понять и принять новую эстетическую систему. Характерно одно замечание о поэме «Мороз, Красный нос», сделанное Страховым еще в 1864 году в «Эпохе». Полемицизируя с «Русским словом», говорившим о невозможности светлых картин крестьянской жизни, как они предстали в предсмертном сне Дарьи, Страхов писал: «Какая прелесть! Эти стихи и выписываешь с наслаждением. Какая верность, яркость и простота в каждой черте». И все же: «...несмотря на струи истинной поэзии, в целом поэма представляет странную уродливость»<sup>40</sup> (ср. аналогичный отзыв в письме Толстому об опере Мусоргского — «чудище невообразимое»), а самое название поэмы для него юмористическое (!): «...зачем юмористическое название в этой печальной идиллии. К чему тут красный нос?»<sup>41</sup> Ухо меломана Страхова не слышит Мусоргского. Ухо знатока поэзии Страхова не слышит драматического контрапункта в поэтическом слове Некрасова.

Известно, что после смерти Некрасова Достоевский, по его словам, «взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы». «Всю эту ночь, — вспоминает писатель, — я перечел чуть ли не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов, как поэт, занимал места в моей жизни. Как поэт, конечно».<sup>42</sup> Тогда же Страхов сообщал Толстому: «А Некрасов умирает, — Вы знаете? Меня это очень волнует. Когда он звал к себе обедать (в связи с переговорами о возможности напечатания в «Отечественных записках» «Анны Карениной», — Н. С.), я не пошел, но на похороны пойду. Его стихи стали для меня иначе звучать — какая сила...»<sup>43</sup> Вот уж истинно по пророческому слову поэта: «и только труп его увидя, как много сделал он, поймут».

То же, что и об отношении Страхова к Некрасову, можно еще в большей мере сказать и об отношении его к Щедрину и ко многим другим явлениям нового искусства, которое прежде всего отличала передовая мысль, отчетливая, направленная тенденциозность. Особенно несправедливые и злые характеристики неизменно получает у Страхова Щедрин — один из главных его противников в журнальной борьбе еще с 60-х годов. Отмечая «несомненную талантливость» Щедрина, Страхов тем не менее пытался создать, например в позднейшей статье 1883 года «Взгляд на текущую литературу», явно окарикатуренный образ великого сатирика. Не такими писателями, по Страхову, обогащалась литература, о бедности которой он продолжал говорить с большой настойчивостью.

<sup>39</sup> Там же, с. 153.

<sup>40</sup> Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 535.

<sup>41</sup> Там же, с. 553—554.

<sup>42</sup> Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 482.

<sup>43</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 115—116.

«Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин».<sup>44</sup> Споры ли о сути русской жизни и о ее возможностях, сомнения ли в богатстве русской литературы и ее будущем — все заставляло Страхова прибегать к одному бессспорному, всепобивающему и абсолютному аргументу — к Пушкину.

\* \* \*

По существу Н. Страхов сказал о самом Пушкине не так уж много нового, повторяя Ап. Григорьева в основной идее своих пушкинских статей и Белинского в ряде как более важных, так и более частных моментов их. Но особую силу этим статьям придавало то обстоятельство, что первые из них рождались в обстановке, когда имя Пушкина вызывало равнодушие или даже подвергалось прямым нападкам, например «Русского слова» (прежде всего Писарева). «... Вас поражает, — писал Страхов, — безмерная диспропорция между предметом этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны вы видите явление громадное, глубокое, ширящееся в бесконечность... с другой стороны вы видите людей с микроскопически-узкими и слепыми взглядами, с невероятно короткими мерками и циркулями, предназначенными для измерения и оценки великого явления... В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак ума; между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание самого разительного доказательства умственной слабости?»<sup>45</sup>

Между тем Пушкин как явление новой послепетровской жизни и даже прямое следствие дел Петра (по известным словам Герцена, на вызов, брошенный Петром, Россия ответила сто лет спустя громадным явлением Пушкина) явно противоречит славянофильским концепциям. «...Никому, впрочем, не тайна, — писал Страхов, — холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно... Дорожа пониманием основных черт ее (русской жизни, — Н. С.) духа, они равнодушно, без боли отбрасывают родное явление, мешающее этому пониманию, разрушающее, как резкое исключение, их свято уважаемую теорию».<sup>46</sup>

Сама сила отрицания Пушкина в 60-е годы увеличивала у Страхова силу его утверждения. Позднее Страхов с восторгом воспринял пушкинскую речь Достоевского как подтверждение правоты своего взгляда на Пушкина, как, впрочем, и верности точки зрения на Пушкина всей почвеннической партии, которую он даже называет пушкинской.

Многое сошлось для Страхова в Пушкине. В Пушкине Страхов видел живой и, может быть, единственный настоящий и непререкаемый залог русской жизни и русского национального характера. К «полному» творцу Пушкину с неотразимой силой влекся односторонний, не «творческий» теоретик Страхов. С Пушкиным скептик Страхов мог, наконец, оставлять свои «отрицательные задачи» и становиться «утвердителем», энтузиастом и проповедником, ибо пушкинские статьи Страхова — это, так сказать, сплошная проповедь Пушкина, «главного сокровища нашей литературы».

Правда, говорить о более или менее полном рассмотрении Страховым творчества Пушкина не приходится. Страхов не случайно, объединяя позднее в книгу свои статьи о Пушкине, назвал ее «Заметками» и специально оговорил такой характер книги. Но дело не только в беспретенциозности жанра. На многое в самом Пушкине вольно или невольно Страхов закрывает глаза. Так, «Историю села Горюхина» (Горюхина в из-

<sup>44</sup> Страхов Н. Бедность нашей литературы, с. 54.

<sup>45</sup> Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах, с. 18.

<sup>46</sup> Там же, с. 4.

вестном тогда подцензурном названии) Страхов соотнес с карамзинской «Историей государства Российского». Но бесспорная для нас сейчас соотнесенность «Истории села Горюхина» с щедринской сатирой, например с «Историей одного города», очевидно, показалась бы Страхову кощунственной. А ведь в общем виде он справедливо писал: «Мы находим теперь, что, несмотря на множество по-видимому новых путей, которыми шла с тех пор русская литература, эти пути были только продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным».<sup>47</sup>

Но, во всяком случае, один из таких путей новой русской литературы Страхов-критик соотнес с Пушкиным. В своих «Заметках» он лишь обмолвился: «Важность „Летописи“ (т. е. «Истории села Горюхина», — Н. С.) видна уже из того, что с нее начинается поворот в деятельности Пушкина, и он пишет ряд повестей из русской жизни, заканчивающийся „Капитанскою дочкою“». В развитии русской литературы едва ли есть пункт более важный; здесь мы ограничиваемся только тем, что указываем на этот пункт».<sup>48</sup>

Из всего написанного Страховым ясно, почему столь важен этот «пункт»: от этого пункта начинается в русской литературе движение, завершившееся в «Войне и мире».

\* \* \*

В новой русской литературе Лев Толстой оказался для Страхова тем явлением, что Пушкин в прошлой. И во многом те же причины, внешние и внутренние, что толкали Страхова к Пушкину, толкнули его и к Толстому. Это опять-таки был исход и внутренней неполноты, теоретичности, недостаточности. Потому-то Страхов и писал Толстому о необходимом для него «*жгучем интересе взаимного ауканья*».<sup>49</sup> Это было снова и безусловное подтверждение силы России. Русская жизнь и русская литература вновь заявили себя в Толстом могуче и неотразимо: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глупом здоровье русского народа».<sup>50</sup>

Именно применительно к Толстому в полной мере и проявилась знаменитая страховская способность понимания. Он не был творцом, но он с большой силой обнаружил способность понимания такого типа творца, как Лев Толстой, и такого типа творчества, как толстовское. Обнаружил, идя от себя, так сказать, «от противного». Впрочем, в Толстом Страхов увидел и подтверждение многих теоретических начал «органической» критики.

Страхов прошел школу классической немецкой философии. Именно там сложились и укрепились его представления о великом значении разума, о могучей силе познания. В этом смысле Страхов всегда оставался рационалистом. В то же время разуму им отводилась достаточно ограниченная площадка и достаточно пассивная роль перед лицом общежизненных стихий. В этом смысле Страхов всегда оставался антирационалистом, и здесь тоже лежит один из истоков страховского противостояния просветительству с его культом разума и универсализацией значения разума. «Вы ведь, — обращался он к просветителям, рационалистам и «теоретикам», как он их называл, — и им (земледелием, — Н. С.) вертите в ваших мечтах как попало. Вы вообразили, что оно совершенно в вашей власти, что стоит *вздумать* — и оно процветет; а если не процветает, так от того, что это не *вздумано*».<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Там же, с. 36.

<sup>48</sup> Там же, с. 54.

<sup>49</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 305.

<sup>50</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. 1, с. 309.

<sup>51</sup> Страхов Н.: Из истории литературного нигилизма, с. 99.

Поэтому же Страхов, оставаясь рационалистом, прошел весь путь антирационализма, выходя к философии Шопенгауэра, которая увлекала его, как и его ближайших друзей — Льва Толстого и Афанасия Фета. В то же время, подобно Толстому (но не Фету), скептик Страхов отверг конечные «скептические», т. е. глубоко пессимистические выводы этой философии. Во многом с позиций сближающего его с Толстым антирационализма подходил Страхов и к «Войне и миру». «...*Вера в жизнь* — признание за жизнью большего смысла, чем тот, какой способен уловить наш разум, — разлита по всему произведению графа Л. Н. Толстого; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведение... Таинственная глубина жизни — вот мысль „Войны и мира“». <sup>52</sup> Самое столкновение Наполеона и Кутузова в «Войне и мире» как выражение двух противоположных жизненных типов — хищного и мирного, простого — он истолковывал в духе Ап. Григорьева.

Страхов даже полагал, что вообще именно он открыл в критике Толстого, которого, по его словам, не только не поняли, но о котором вовсе не говорили. Но, заявляя это в конце 60-х годов, Страхов должен был бы вспомнить, что Чернышевский «открывал» Толстого, в цикле своих о нем статей, в середине 50-х годов. Недаром еще в XIX веке один из авторов называл приписываемое себе Страховым право на открытие Толстого «высокомерной несправедливостью». <sup>53</sup>

Тем не менее что касается Толстого позднего, во всяком случае от «Войны и мира», здесь Страхов обнаружил удивительные и понимание, и прозорливость. Честь открытия и утверждения в критике этого Толстого во многом действительно остается за ним. Страхов, чуть ли не единственный тогда критик, по сути немедленно стал в то отношение к «Войне и миру», которое сам он позднее формулировал в предисловии к выпущенным в 1871 году отдельной книжкой своим статьям о «Войне и мире»: «„Война и мир“ есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не „Войну и мир“ будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о „Войне и мире“». <sup>54</sup> Именно на таком понимании, очевидно, возникло и то доверие, которым быстро проникся и которое постоянно испытывал по отношению к Страхову сам Толстой. Так, при подготовке «Войны и мира» к изданию, вышедшему в 1873 году в составе собрания его сочинений, Толстой в сущности открыл принимавшему в нем участие Страхову *carte blanche*: «Еще просьба, — пишет Толстой Страхову в письме от 25 марта 1873 года, т. е. всего через два года после знакомства, — я начал готовить „Войну и мир“ ко второму изданию и вымарывать лишнее — что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатать отдельно. — Дайте мне совет... если Вы помните, что нехорошо, напомните... Если бы, вспомнив то, что надо изменить, и поглядев последние 3 тома рассуждения, написали бы мне, это и это надо изменить и рассуждения с страницы такой-то по страницу такую-то выкинуть, вы бы очень, очень обязали меня».

Страхов немного и осторожно, но действительно правил Толстого, в частности стиль там, где возникали грамматические неправильности — галлицизмы. Оставляя в стороне собственно текстологическую сторону дела, обратим внимание на самую степень доверия, которую питал к Страхову Толстой.

<sup>52</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 215—216.

<sup>53</sup> Гольцев В. Н. Н. Страхов, как художественный критик. — В кн.: Гольцев В. О художниках и критиках. М., 1899, с. 121.

<sup>54</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 312—313.

Другой пример. Посылая в редакцию «Отечественных записок» статью «О народном образовании», Толстой в письме от 30 августа 1874 года обращается к издателю журнала Некрасову: «... очень прошу вас корректуры ее приказать пересылать Николаю Николаевичу Страхову (Публичная библиотека) и всякое изменение, сделанное им, принимать *как бы мое*» (курсив мой, — Н. С.).

Свои статьи о «Войне и мире» Страхов даже называл критической поэмой в четырех песнях.

Во-первых, он установил прямую связь, которая существует между Пушкиным и Толстым, а именно между «Капитанской дочкой» и «Войной и миром». Во-вторых, он установил различие между ранними толстовскими произведениями и «Войной и миром». Наконец, — и главное, — Страхов первый в критике раскрыл смысл «Войны и мира» как русской героической эпопеи: «Художник дал нам новую, русскую формулу *героической жизни*». <sup>55</sup> Эта формула основана, по Страхову, на уяснении русского идеала, впервые после Пушкина так ясно себя заявившего, — духа, который сам Толстой формулировал как дух простоты, добра и правды.

Под этим углом зрения, кстати сказать, знаменитый Платон Каратаев не только не выпадает из *русской формулы героической жизни*, но в известном смысле сводит ее к себе. Недаром именно в связи с ним повторяются у Толстого слова о духе добра и простоты. Образ Каратаева-солдата у Пьера естественно и прямо связан с образом других солдат и с общим образом войны как войны народной. И поставлен солдат Каратаев в самые тяжелые условия, в которых может оказаться солдат во время войны, — плена. «В лице Каратаева, — отмечал Страхов, — Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живет в его простых сердцах». <sup>56</sup>

Страхов называет еще такой тип героизма «смирным героизмом» (его несут и Кутузов, и Коновницын, и Тушин, и Дохтуров) в отличие от «деятельного», который, впрочем, виден не только во французах, но и во множестве русских людей (Ермолов, Милорадович, Долохов). «Вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди решительные, смелые — не имели важности в ходе дел, чтобы русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам... Итак, есть сторона русского характера, которая не вполне схвачена и изображена автором». По Страхову, такой тип героизма еще не нашел вполне своего поэта-выразителя. Мы можем еще только прозревать его. Толстой же прежде всего выразил иное: «Мы сильны *всем народом*, сильны тою силою, которая живет в самых простых и смирных личностях, — вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Но дело не только и не просто, так сказать, в количественной силе, во внешней победе. «Если вопрос идет о силе, то он решается тем, на какой стороне победа; но простота, добро и правда нам милы и дороги сами по себе, все равно, победят они или нет... Огромная картина гр. Л. Н. Толстого есть достойное изображение русского народа. Это — действительно неслыханное явление, — эпопея в современных формах искусства». <sup>57</sup>

Можно оспаривать ту или иную обобщающую формулу Страхова, но нельзя не видеть, что он первый сказал о «Войне и мире» как о народной книге. А ведь самое снисходительное, что произнесла тогда о «Войне и мире» радикальная критика в лице Писарева, было: картины «старого барства». Как не вспомнить великолепную ленинскую формулу, данную

<sup>55</sup> Там же, с. 281.

<sup>56</sup> Там же, с. 274.

<sup>57</sup> Там же, с. 286—287.

как раз в связи с «Войной и миром» и сообщенную нам Горьким: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было». <sup>58</sup>

О бедности русской литературы теперь уже говорить не приходится, и Страхов о ней не говорит: «Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе... мы прямо укажем на „Войну и мир“, как на зрелый плод нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого и важно не *за неимением* лучших, а потому, что оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем». <sup>59</sup> Как не вспомнить также сказанные в связи с «Войной и миром» ленинские слова: «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?.. Некого». <sup>60</sup>

Уже в 1870 году Страхов уверенно проронил: «„Война и мир“ скоро станет настольною книгою каждого образованного русского, классическим чтением наших детей». Казалось бы, достигнуты пределы признания и самых высоких оценок. И все же они у Страхова нарастают, и это, конечно, тоже связано с тем, что толстовская книга продолжает жить, в своем, как теперь говорят, функциональном значении. Она развивается подобно живому организму: оставаясь той же самой, она и другая. В 1887 году Страхов пишет Толстому о его книге как о вещи уже от автора отстраненной, как о существе совершенно самостоятельном, живущем своею жизнью, общении с которым может быть поучительно для автора, выступающего в роли читателя собственной книги: «Если Вы давно не читали „Войны и мира“, то убедительно прошу и советую Вам — перечтите внимательно... Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее как следует, да и Вы не умеете — так мне кажется». <sup>61</sup>

Но нужно видеть в отношении Страхова к Толстому еще одну сторону. Толстой был для Страхова носителем могучих жизненных сил. «Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем, но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек», — писал Страхов. И несколько раньше: «Вы растянулись умом и сердцем во всю ширину земной жизни».

Так понимаемая жизнь Толстого должна была представляться Страхову совершенно безусловной и истинной в своем развитии. Поэтому Страхов со всем энтузиазмом воспринял позднейшие религиозные искания Толстого.

\* \* \*

Думается, что Толстой, невольно, конечно, определял и дополнительную сложность отношений Страхова с Достоевским. Эти отношения как раз были лишены, несмотря на долготлетнюю близость, предельной доверительности и — особенно — простоты, которые отличают отношения Страхова с Толстым. Сложная история эта многократно привлекала внимание исследователей. Факты таковы: Страхов был связан с Достоевским десятки лет и, так сказать, по работе, и дружески, семейно. О романе «Преступление и наказание» он напечатал в «Отечественных записках» за 1867 год (№№ 3 и 4) одну из самых интересных статей. После смерти Достоевского Страхов написал о нем «Воспоминания», сохранившие ценность и документального свидетельства и общего осмысления. Они стали введением к первому полному собранию сочинений писателя.

<sup>58</sup> Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 17. М., 1952, с. 39.

<sup>59</sup> Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 308.

<sup>60</sup> Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 17, с. 39.

<sup>61</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 355.



Между тем спустя некоторое время в письме Толстому от 28 ноября 1883 года он написал о Достоевском очень злые слова и сделал явно несправедливые, даже страшные, упреки. Письмо это было опубликовано в 1913 году, т. е. много лет спустя после смерти в 1896 году Страхова. На него остро реагировала вдова Достоевского Анна Григорьевна, которая, сопоставив публичные «Воспоминания» с этим частным письмом, первая сказала о лицемерии Страхова.<sup>62</sup> И до сих пишут о лицемерии Страхова. Между тем дело явно обстоит сложнее.

Вообще сопоставление частных писем писателя (которые обычно рано или поздно становятся публичными) и печатно даваемых им характеристик людям и обстоятельствам, упоминаемым в переписке, могло бы нередко дать основание для обвинений в лицемерии, тем не менее этого чаще всего — и справедливо — не делается. Кстати, пожалуй, Страхов, судя по многим его письмам, человек, менее других дающий основание для таких обвинений. Да и пронизательный Толстой вряд ли мог на протяжении десятков лет называть «одним из лучших людей», которых он знает, лицемера и ханжу. «Он (Достоевский, — Н. С.), — сообщает Толстому Страхов, — был мой усерднейший читатель, очень тонко все понимал».<sup>63</sup> А. Г. Достоевская вспоминает (еще до знакомства с письмом Страхова Толстому), как дорожил беседами с ним Ф. М. Достоевский.<sup>64</sup>

С другой стороны, Достоевский, уже опять-таки в частном письме, говорит о Страхове: «Это скверный семинарист и больше ничего».<sup>65</sup> В тетради «для себя» Достоевский записывает о Страхове: «Н. Н. <Страхов> в статьях своих говорил *обиньяком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы».<sup>66</sup> В письме Страхову Достоевский пишет: «В конце концов я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней критики, которому принадлежит будущее».<sup>67</sup> Что это, лицемерие?

Очевидно, имела место сложность отношений и взаимовосприятия: и дружба, и близость, и расхождения, и столкновения, все усиливающиеся. В «Воспоминаниях» о Достоевском Страхов не лгал, но здесь он, по собственным в «Воспоминаниях» же сказанным словам, «возобновил некоторые из лучших чувств» и, по словам, сказанным уже в письме Толстому, «налегал на литературную сторону»: «Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал».<sup>68</sup> В письме, говоря о Достоевском, он называл того и злым, и завистливым, и развратным, рисует, по его признанию, другую сторону, дает комментарий к биографии, не отменяя самой написанной им биографии — «но пусть эта правда погибнет». Тем более что: «Я прибрал Достоевского, а сам верно хуже».

В то же время и в письмах он с большой откровенностью (и с большей, чем в «Воспоминаниях») говорит о том, чем для него лично был Достоевский: «... чувство ужасной... пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось

<sup>62</sup> Очевидно, А. Г. Достоевская была бы сдержаннее, если бы она знала о похожих обвинениях, но уже в адрес Страхова, сделанных ранее Достоевским в одной из записей, и о том, что, разбирая архив Достоевского, Страхов, видимо, с нею ознакомился. См.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. — В кн.: Лит. наследство, т. 83, 1971, с. 23.

<sup>63</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 273.

<sup>64</sup> См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 319.

<sup>65</sup> Достоевский Ф. М. Письма, т. III. М.—Л., 1934, с. 155.

<sup>66</sup> Лит. наследство, т. 83, с. 619.

<sup>67</sup> Достоевский Ф. М. Письма, т. II, с. 167.

<sup>68</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 310.

пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел». <sup>69</sup> В «Воспоминаниях» запечатлено «значение». В письмах — не только оно, но и то, что «не ладили». Дело, однако, не только в сложности отношений. Думается, что то, что предстало и было понято как некий феномен лицемерия, возникло на более принципиальной почве, а именно на религиозной.

В свое время А. С. Долинин писал: «Взгляды Достоевского — действительно „наполовину взгляды“, высказанные ранним Страховым. . . Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени не оригинальны: любой „батюшка“ произносил подобные речи с церковного амвона не один раз. . . В „Дневнике писателя“, в особенности в „Почуении старца Зосимы“, он повторяет их почти дословно». <sup>70</sup> Думается, современный исследователь справедливо оспаривает подобную характеристику: «Великий художник-гуманист в тех же „Записках из подполья“ ведет внутреннюю полемику и со страховской „рецептурой“ переустройства мира на „идеалистических“ началах. Страхову, напротив, все ясно, трудных проблем для него, в сущности, не существует, ему как бы заранее известны все возможные решения». <sup>71</sup>

Может быть, не случайны у Достоевского неоднократные уничижительные характеристики Страхова как семинариста. Действительно, в отличие от многих других выпускников семинарий, так обильно пополнивших в середине прошлого века ряды материалистов и безбожников, Страхов навсегда остался человеком, преданным религиозным догматам. Именно догматам. Вера эта, судя по всему, была непоколебимой, какой-то школьно-семинарской, по-бурсацки вдолбленной и навсегда такой оставшейся — безусловной, бесспорной и безвопросной. Но религиозным писателем или мыслителем в собственном смысле этого слова Страхова назвать трудно, ибо, держа этот принцип в уме, он по сути никогда его не излагал, прямо не защищал, не проповедовал. Даже такая, кажется, единственная его специальная работа, как «Учение о боге по началам разума», имеет не оригинальный, а реферативный характер, есть изложение pro и contra Аристотеля и Лейбница, Декарта и Канта.

Сама же вера полагается до всяких доказательств. Недаром Страхов пишет: «Все существующие философские доказательства бытия божия не имеют характера доказательств в точном значении слова, все они уже предполагают то, что хотят доказать: существование в нашем духе идеи о боге». <sup>72</sup> Думается, ортодоксальная религиозность Страхова здесь-то и искушалась и раздражалась исканиями Достоевского, не случайно, чем дальше, тем больше определялись их расхождения. Страхов и хочет истолковать Достоевского, в особенности «Братьев Карамазовых», в сугубо традиционном христианском духе и все же не всегда решается сделать это и даже прямо пишет в «Воспоминаниях» о неопределенности у Достоевского-писателя «начал и принципов».

Достоевский недаром говорил, что он проходил через горнило испытаний, что тяжело далась ему его «осанна». Дело в том, что писателем пытался, ставился под сомнение сам принцип религии, бога. Искания Толстого самого принципа этого под сомнение не ставили. Все это отталкивало Страхова от Достоевского и влекло к Толстому и в этой области. Они тоже могли спорить — многое у Толстого здесь Страхов резко осуждал, — но это уже был спор единомышленников.

<sup>69</sup> Там же, с. 266.

<sup>70</sup> Шестидесятые годы. М.—Л., 1940, с. 244, 247—248.

<sup>71</sup> Гуральник У. Н. Н. Страхов — литературный критик. — Вопросы литературы, 1972, № 7, с. 142.

<sup>72</sup> Страхов Н. Учение о боге по началам разума. М., 1893, с. 33.

Потому-то Толстой, оспаривая те или иные оценки Страховым Достоевского-художника (его тезис о соотношении автора и героев и др.), почти не обращая внимания на все уже данные Страховым отрицательные характеристики Достоевского-человека, вполне признавая огромные заслуги Достоевского — писателя-мыслителя, все же *упрекает* (в письме от 5 декабря 1883 года) Страхова в *преувеличении* им роли Достоевского как пророка: «Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророки и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Толстой и сам был «весь борьба». Но для Страхова это была борьба в рамках самой веры: он мог что-то в этой борьбе одобрять, что-то не одобрять. Но саму такую борьбу он одобрял, приветствовал, поощрял и пытался истолковать в своем духе: «... большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился выразить и своими писаниями и своею жизнью».<sup>73</sup> Под знаком этого начала Страхов все меньше говорит о Толстом-художнике. Позднейшие его статьи о Толстом (особенно характерна здесь рецензия 1884 года «Французская статья об Л. Н. Толстом») — это прежде всего рассмотрение писателя с позиций того религиозно-нравственного переворота, который в нем совершился.

Достоевский достаточно ревниво относился к Толстому и, как следствие, к тому, что писал и говорил о Толстом Страхов. 6 февраля 1875 года он сообщает жене о встрече с Майковым и Страховым: «Об романе моем («Подростке», — Н. С.) ни слова, и, видимо, не желая меня *огорчать*. Об романе Толстого тоже говорили не много, но то, что сказали — выговорили до смешного восторженно».<sup>74</sup>

Немного раньше Достоевский вносит в тетрадь характеристику Страхова как «затолстевшего» человека.<sup>75</sup> Прямая и отрицательная, она, впрочем, выглядит, может быть выглядела и для Достоевского, каламбуром: Страхов действительно «затолстел», к Толстому повернувшись всеми своими мыслями, чувствами и писаниями.

Самому же Страхову Достоевский напишет удивительно широко, точно, смело и великодушно: «Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на какого-нибудь передового писателя, т. е. как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя... Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статью о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя... Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, т. е. с *его последнего сочинения*».<sup>76</sup>

Страхов действительно стал чем-то вроде особого критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом, для Толстого

<sup>73</sup> Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892, с. 135.

<sup>74</sup> Достоевский Ф. М. Письма, т. III, с. 148.

<sup>75</sup> См.: Лит. наследство, т. 83, с. 312.

<sup>76</sup> Достоевский Ф. М. Письма, т. II, с. 166—167.

и о Толстом. «Вы ведь, — пишет он уже сравнительно незадолго до смерти, — много виноваты в моей философии и в том, что я пренебрегаю русской литературою». Толстой многое затмил для Стрaхова-критика. Но трезвость взгляда, так отличавшая его лучшие оценки, не совсем изменяла Стрaхову: «Недавно я кое-что перечитал и кое-что вновь прочел: Гаршина, Короленко, Чехова — да ведь это серьезная литература — не чета Zola».<sup>77</sup>

Великая литература русского реализма снова звала, обещала, обнадеживала старого критика: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа».

---

<sup>77</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Стрaховым, с. 444.

